

Бывшие

Каждый раз, проходя по коридорам БСМП, я будто слышу всплеск — по водам памяти расходятся круги... Подземные переходы, укромные местечки, подвал — я исходил этажи больницы вдоль и поперёк. Но особенно щемит в груди, когда поднимаюсь на шестой. Здесь на месте второго поста был наш храм.

В нулевые в больнице скорой помощи — в «тысячечной» — произошло событие: главврач решил отвести холл неврологического отделения под церковь. За несколько дней наши прихожане нашли кирпич, выстроили стену, сколотили иконостас. Теперь я бегал от святителя Николая к преподобному Серафиму и обратно.

Храм был небольшой, алтарь малюсенький — престол стоял прижатый к стене; подоконник заменял полку под богослужебные книги, а клирос был отделён тумбочкой. Литургию мы служили несколько раз в месяц, но еженедельно причащали, крестили, соборовали. Почему «мы»? Потому что во всех священнодействиях мне помогали катехизатор, проповедница и алтарник. Всё — бывшие.

Сергей, который ходил по палатам и подготавливал больных к таинствам, — бывший пятидесятник, ещё раньше — грозный деревенский боец. В девяностые он дрался один на один, за компанию, с компанией, на спор или ящик водки. Но Бог любит дерзновенных, и, когда Он уловил Сергея сетями своей любви, тот сразу пошёл за Христом.

Татьяна — бывшая предпринимательница. Своё дело, дом в Покровке, богатые подруги плюс куча оккультного знания. Но и к ней пробился Господь. Татьяна оставила и дело, и связи и в конце концов съехала с бухгалтерии до свечного ящика. Она благовествовала здоровым и больным о пути спасения, служа Богу даром слова, которым Он щедро её наделил.

Андрей — пономарь. Этому ремеслу он выучился, находясь в колонии, где мы с ним и познакомились. Бывший рецидивист хорошо читал по-славянски и неплохо знал богослужение. Освободившись, нашёл силы прийти в Дом Божий — место, куда несут боль и надежду.

Боли мы тут рассмотрелись. В палатах стирается граница между полами. Здесь видишь не

обнажённых мужчин и женщин, но людей в бинтах и спицах, растянутых на блоках, стриженных, без конечностей, лежащих без сознания на аппаратах в реанимационных. И почти всегда спешишь, потому что часто счёт идёт на часы, если не на минуты. Случалось, не успевали... Но бывали мы и свидетелями Божьей милости.

Пьём чай после очередного обхода. В храм протискивают коляску. В ней сидит бледный парень в мятой футболке и тапочках. Сестра, вытирая глаза, рассказывает, что брат неудачно упал, повредил позвоночник и теперь почти обездвижен. После операции доктора сказали, что шансов начать ходить почти никаких. Парень хочет принять крещение.

Пока Татьяна готовит купель, Сергей кратко оглашает — объясняет «Символ веры», суть таинства. Задаю несколько личных вопросов. Начинаем.

На фоне дребезжания каталок, звонких голосов медсестёр звучит древний язык. Оплывают свечи, парень сосредоточенно крестится. Когда начинается троекратное обожжение купели, Андрей — сухой, но жилистый — берёт парализованного и несёт след за мной. В память врезаются безвольно висящие ноги на синих исколотых руках.

Поздравляем, вручаем Евангелие, молитвослов. Коляска медленно исчезает в дверном проёме.

На следующий день вчерашний новокрещённый... пришёл в храм. Сам! Сестра его поддерживала, но это — на всякий случай. Проснувшись утром, он вдруг почувствовал, что может встать. Сделал шаг, держась за спинку кровати, потом другой... Врачи удивлялись, искали, как обычно, объяснение. Что ж, пусть ищут. На то человеку и дан ум, чтобы искать... Истину. Дано ему и сердце, чтобы верить.

Теперь храм внизу, снаружи. Больным попасть в него непросто. Я в нём больше не служу. Бывшие мои помощники растеклись в разные стороны, и у каждого теперь своё русло. Но это уже другая история.

Коронованный одиночеством

У Валерия онкология, ему семьдесят с хвостиком, он недавно переболел коронавирусом. Последний раз я разговаривал с ним по телефону два месяца

назад. Он просил причастить его в больнице. Оказалось, что это невозможно. Несмотря на епархиальные предписания, как священнику совершать таинства над больными COVID-19, врачи нам отказали — категорически. А потом — молчание, неизвестность... Молились всем миром.

И тут звонок. На экране высветилось его имя. — Жив! Слава Богу! Я словно в аду побывал...

Встретиться договорились через неделю.

Поднимаюсь со Святыми Дарами на пятый этаж. Всё тот же пейзаж за окном подъезда, те же исшарканные ступени. Пять лет я причащаю Валерия на дому. Рак не позволяет ему присутствовать на службе. Валерий скучает по храму и каждый раз спрашивает, как идут дела.

Стучу. Короткая стрижка, исхудавший, ходит с трудом, но без палочки. На кухне на столе иконки, чашка с тёплой водой, горящая лампадка. Всё как обычно, будто и не было двух страшных месяцев болезни. Но я замечаю что-то новое в его глазах — какую-то глубокую, вселенскую усталость. Валерий садится, я придвигаю стул.

— Представляете, — начинает он, — в реанимации пролежал полтора месяца. Аппарат, катетер, в трахее трубка. Всё! Изоляция полная. Что в мире происходит, как семья, живы, здоровы — никто ничего не говорит. Я человеческих лиц полтора месяца не видел. Откроешь глаза — над тобой маски, фигуры в балахонах. Ну точно — инопланетяне. Мычат чего-то. А я ещё плохо слышу. Они злятся. Все раздражительные. Понимаю, дел неуправляемо, но мне от этого не легче. Состояние кошмарное, задыхаешься, пишу через трубку толкают, судно там... Я ходить заново учился, — Валерий машет рукой, замолкает. — Вы не поверите, — продолжает он, — мне там небо в звёздах открылось. — Это как? В окно?

— Да какое там! Потолок! Он как бы иногда расцветал. Разольётся красками — яркими, насыщенными — и весь переливается. Будто кто-то раскрашивает. Я сначала подумал, что с ума схожу или лекарства так действуют. А потом решил: это, наверное, Господь утешает. Я ведь молиться не переставал. Без молитвы там — жуть. Отчаяние такое охватывает! Всё от одиночества. Один почти всё время, и не знаешь, когда закончится. И как закончится. А умирать одному, скажу я вам, страшно. Да ещё без причастия. Вот где мука адская! Тьма!

Валерий снова умолкает, погружаясь в пережитое. Да, несомненно, он прав, одиночество — мука из мук. Отцы пишут, что в аду нет движения, душа как бы замыкается на самой себе, и её окончательно поглощает та греховная страсть, которой она предавалась в земной жизни. Человек застывает навечно в том, что называется в Евангелии «тьмой внешней».

Один пьющий — совсем молодой парень — рассказывал, что как-то после очередного запоя решил повеситься. Нашёл верёвку, приспособил к перекладине. Перед тем как полезть в петлю, неожиданно забылся коротким сном. Но это был не просто сон. Парень вдруг ощутил себя в иной реальности. Во мраке — липком, густом, непрозрачном. В таком плотном, что можно было потрогать. Мрак этот состоял или, лучше сказать, был соткан из ужаса и отчаянья. И невыносимой тоски. Один в крошечной тьме. Словами этого не выразишь, нет в нашем мире слов, чтобы описать такое. И ещё. Он всем нутром почувствовал: это — навечно. Навсегда! Ни изменения, ни тени перемены. Тёмное нескончаемое безвременье... И вдруг он открыл глаза. И увидел свет — солнечный, тёплый, живой... Видимо, был в роду молитвенник.

Я подхожу к Валерию, принимаю исповедь, преподаю ему светоносные Тело и Кровь Христовы. Тьма рассеяна — и внешняя, и внутренняя. Но есть ли граница между временным и внешним? И не является ли наша жизнь нераздельной и непрерывной, как лента Мёбиуса?

На пороге Валерий снова вздыхает:

— Эх, маловерный я. Простите. Но если снова заболел, то уже не выберусь.

Это он о своей просьбе причастить его одной ложечкой. Я успокаиваю — не каждому даётся пройти такое испытание. Он ведь и заразился в своём подъезде, пока спускался посидеть на скамейке во дворе. Родственники здоровы, а этажом ниже, как выяснилось, болела многодетная семья.

— Наверное, когда брался за перила, тогда и подхватил заразу. Вы уж поаккуратнее.

— Конечно, — отвечаю и закрываю дверь.

Мы не духовные великаны, мы просто стараемся нести крест и сохранить веру, которая то полыхает, словно огонь в печи, то мерцает, как головешка. Я спускаюсь по знакомым ступеням, стараясь не держаться за перила.

Грани

Священство — не профессия. Это — служение. И проходит оно всегда по грани. Можно по-разному относиться к такому служению, но священник — тот же пограничник. Он всегда на краю времени-вечности (можно писать и без пробела, и без дефиса). Особенно это чувствуется, когда прикасаешься к смерти. Готовишь живых, провожаешь мёртвых.

Больничная палата или комната умирающего напоминает купе. Прощание, напутствие... и вдруг: «Провожаящих просят покинуть вагон. Поезд отправляется через пять минут». Выходишь, аккуратно закрывая дверь. Надеешься, что

слова, которые только что оставил, сейчас помогут человеку.

Впрочем, случается и обратное: слова уходящих надолго остаются в тебе, поддерживают, словно масло в лампаде, огонёк надежды.

Где-то примерно через год после моего рукоположения я крестил на дому мужчину. Ему оставалось буквально несколько дней. Говорил он тихо, но я до сих пор отчётливо слышу его голос:

— Знаю, что там есть жизнь. Чувствую это. Не сомневаюсь. Но я ухожу туда — пустым. Пробегал, зря потратил и время, и силы. Мне нечего взять с собой.

Я ответил, что это не так. У него есть главное — вера. И не всякому открывается Бог на последних минутах, в тот самый «одиннадцатый час» Писания.

Но не только слова выбивает Божий резец на скрижалях памяти. Лица, события, вещи — всё слетается в строку. Всегда что-то пишется. До той самой последней точки. Вернее — многоточия... И написанное останется навечно. Как те игрушки в гробике двухмесячной Лизы, которую пришлось отпевать без певчих, когда я почти не видел страниц требника. Как и лица её матери, склонённого над этим внезапно увядшим цветочком. Она молилась — спокойно и мужественно, неся в сердце скорбь и надежду. Позднее она рассказала о том, как видела во сне свою умершую бабушку и дочь. Прабабушка несла внучку на руках к Богородице...

Жизнь продолжается. И для нас. И для — них. И на каких-то гранях бытия случается нам пересекаться. И мы живём ожиданием будущей встречи.

А пока снова и снова звучит просьба покинуть вагон.

Поздняя осень. Голые чёрные ветви кладбищенских тополей воткнуты в небо. У калитки меня встречает зритель. Здравуемся.

— Как оно? — спрашиваю.

— Охраняем.

— Кого? — оглядываюсь по сторонам.

— Покой усопших, — улыбаясь, отвечает сторож.

— А мы их провожаем.

— Куда?

— Туда.

Поднимаем головы. Небо плотно лежит на деревянных опорах огромного вокзала, где спуют невидимые бесплотные проводники и вот-вот тронутся вагоны поезда, который следует только в одном направлении — туда.

Девочка-педагог

В Рождественский сочельник я причащал ребёнка. Дитя ждало меня и очень волновалось. Она бы и сама с радостью пришла на праздничную службу, но уже нельзя выходить на улицу одной — зрение стремительно падает. Недавно по дороге в магазин

сломала руку. Прихожане и соцработники пытаются помочь, но только смущают — ей неудобно кого-то обременять, доставлять хлопоты. Тем более священнику, да ещё когда в квартире не убрано.

Захожу в подъезд обычной хрущёвки и знаю, что скоро попаду в сказку. Стучу. Хозяйка — высокая, прямая, волосы строго убраны под косынку, завязанную сзади, — открыв дверь, отходит в сторону и складывает руки для благословения.

— Мир вам!

— С миром принимаем, отец Виктор!

Любуюсь её улыбкой. Солнце заигралось на губах, в подслеповатых детских глазах, морщинках; зацепилось лучиком да так и осталось погостить.

Проходим в комнату. Каждый раз хочется потрогать сухую ветку на зеркале, кружевные салфетки, глиняный подсвечник — волшебное убранство этого скромного жилища. На девочке деревянные бусы, блуза, длинная юбка. Строго и элегантно, с достоинством и вкусом, как и подobaет выглядеть... педагогу. С неё брали пример, на лекциях — слушали. Писатели доверяли рукописи её корректуре, переводчики делились текстами.

Мягкий голос, спокойный и чистый, как лесной ручей, радует слух. Отдыхаю взглядом на корешках многочисленных книг, фотографиях литературных гениев, картинах, подаренных художниками.

Квартира прибрана, но нуждается в ремонте. То, что трещины на потолке и кое-где отстают обои, — полбеда. Больше всего досаждают ветер, который через щели и сырые углы пробирается в спальню, заставляет кутаться в тёплое. Стёкла дребезжат от проходящих машин, и вечно капает вода на кухне. Но девочка-педагог не ропщет. За плечами опыт и терпение, горько-сладкая жизнь русской учительницы. И пока весело горит огонёк лампы, обитающий здесь ангел-хранитель утешает хозяйку. Сейчас же бесплотный трепещет, встречая Царя Славы и Господа Господствующих.

Читаем молитвы. Символ веры. Потом... потом ребёнок просит у Небесного Отца прощения — непритворно, доверчиво.

Руки аккуратно сложены на груди, уста благоговейно открыты. Христос соединяется со своим чадом. В доме становится тихо...

Запивка, просфорка. Всё делается сосредоточенно, внимательно.

Мне пора. Оглядываю ещё раз книжные полки. В студенческие времена пользовался этим сокровищем. В этих креслицах мы рассуждали о литературе. На том диване лежала больная сестра, за которой она ухаживала до самого конца. Там пили чай. Здесь пряталась любимая кошка...

Прощаемся. Как всегда, меня ждёт подарок. Дети, матушка — никто не забыт. А мне не забыть солнечный луч, загостившийся в этой светёлке... которая всё-таки нуждается в ремонте.

Коля

Три года, как нет с нами Коли.

С кем-то сходишься легко, с кем-то вообще не сходишься. Мы не стали друзьями, но и не были друг другу посторонними, внешними. Познакомила нас Вера—супруга Коли.

Бывало, мы собирались крохотной общиной в праздники у них на квартире. Стол, неизменный фруктовый пирог, общая чаша и вопросы, вопросы... Коля искал, и поиск этот не был лёгким. Жена трудится в храме. Старшая и средняя дочери подались к протестантам, вышли там замуж. Младшая ходит в воскресную школу. Деревенская родня на всё смотрит с ухмылкой. А он? Слушает, читает, спрашивает и потихоньку тянется... за женой.

Первые литургии. Пока он тут гость. Осматривается, знакомится, но семья веры брошено в добрую землю, а Бог умеет ждать. Исповедь, и снова вопросы, теперь уже другие—насущенные, «проклятые». Всё живое ищет вечного, мёртвое—только временного.

Коля вращался в Церковь, как вращается в почву дерево; корни тянутся в глубину, переплетаются, напитываются влагой... Ветки набирают силу, обрастают листвой... И вдруг первый удар топора—опухоль. Злокачественная.

Он уже дышит воздухом евхаристии, живёт литургийным глотком от причастия до причастия. Но на службе приходится садиться. Болезнь продолжает свою работу, тяжёлое лезвие всё глубже вгрызается в ствол.

Потом он приобщался Святых Тайн дома. Ежедневно... Каждый день...

И вот последнее Колино причастие.

Глаза закрыты. Волосы, лицо, борода склеены в деревянную маску. Кожа—словно потрескавшаяся кора. Боль иссушила тело, смерть почти окончательно выскребла жизнь. Остались крохи часов, если не минут. Коля сейчас на тропе, это очевидно. Тонкая истёртая нить едва удерживает его в здешнем мире. И мы все боимся последнего рывка—к смерти привыкнуть невозможно. Может, это наш страх не отпускает его?

Я читаю над ним, но не ему. Слова молитв сыплются из тремника, касаются печального чела, скатываются на постель. Уверен, он воспринимает их не как набор звуков и смыслов и не ухом, а каким-то иным—невидимым—органом.

Беру руку—лёгкую, как цветок. Так и дочитываю, не отпускаю. Точка. Кисть бессильно падает. Пальцы ветхими лепестками темнеют на простыне. Губы с трудом расцепляются, чтобы принять Кровь... «во оставление грехов и в жизнь вечную». Завершающий «Аминь» скользит тёплым ветерком.

Благословляю... в путь. Снова беру кисть-цветок. Прощаюсь. И в ответ—неожиданно—рукопожатие. Мужчины, брата.

—До встречи,—говорю я и выхожу из комнаты.

Коля ушёл

Февральский снег недолог. Совсем немного, и он заплачет грязными слезами и умрёт. Сойдёт с лица земли, чтобы дать жизнь... Зная о своём близком конце, он и хрустит по-другому.

Я шёл в храм и слушал, как грустно поёт снег. В храме меня ждал Коля—сухой и спокойный. Вокруг него влажнели лица—печальные, внимательные, мужские и женские.

Когда я вышел из алтаря, море лиц всколыхнулось, раздвинулось, образовав тропинку. Я встал в изголовье гроба.

Сначала в тишине обречённо позвякивало кадило, потом волны снова сомкнулись, и над головами вспорхнула стайка древних глаголов. Они рванулись стремительно и как-то нервно, но я приостановил певчих. Это, разумеется, от волнения. Я и сам вцепился в тремник, чтобы унять дрожь в пальцах.

Мои ектеньи напоминали испуганную расстрепанную птицу. Заикание, которое иногда удаётся спрятать за быстрыми словами, неприлично топорщилось. Горло сдавил тугой слёзный ком...

Читаю Евангелие, не видя букв. Тяжёлые слова вязнут на языке.

«Последнее целование». Всегда тягучее, горькое, как потухшие свечи. Вдоль гроба струятся потоки—Вера, дочери, родня, прихожане. Ручейки обтекают изъеденный болезнью ствол, который скоро превратится в труху. «Земля еси и в землю отыдеши».

Коля станет землёю. Но Коля уже пророс в Небо. Там его нетленные корни. Там он расцветёт и принесёт плод в тридцать или в сто крат. А иначе жизнь—пустая затея. А иначе смерть—как финал у графомана: заезженна и пуста. Да, она уродлива, бессмысленна и жестока, рвёт и царапает. И бесполезно отворачиваться от её безобразного лика. Смерть—это всякий раз разбитое стекло... И мы с надеждой ждём Стекольника...

Я говорил Слово. О вере и вечности, о горних высотах, о нескончаемом пути. Говорил об Отце, в чьи руки мы падаем, шагнув за горизонт. О Встрече и встречах. О надежде и любви. Говорил это самому себе. Провожая Колю. Ободряя ближних.

И так нелепо торчали тапочки из-под церковного покрывала, когда я предавал тело земле.

Младшие сёстры

В церкви они редкие гости. Если идут на исповедь, то всегда последними. Ждут, когда разойдётся народ. Одеты скромно, без макияжа, в движениях—застенчивость. Чувствуется, как им здесь боязно. Отойдя от аналоя, спешат выйти из храма, спрятав лица.

Первую помню в начале нулевых.

Длинная великопостная очередь кающихся. В густых сумерках отчётливо звучит покаянный

канон. Голос чтеца ограждает от посторонних тайну — тайну исповеди. Сейчас я — свидетель падений и слов раскаяния, сопричастник чужой сокровенной жизни и благодати. Сейчас я — грань.

Наконец подходит женщина, что всю службу простояла в притворе. Капюшон низко опущен, пальцы нервно теребят бахрому на аналое. Мы одни — чтец и алтарник ушли, свечи вот-вот догорят. — Деньги нужны были. Ребёнок болеет. Я одна...

Пауза затягивается.

— В чём каетесь?

— Я... я из... эскорт-услуг... Простите!

Плечи содрогаются, как в немом кино. Бархат Евангелия уползает от крохотных следов — детских стопочек, что неумело торят дорожку. Заблудившаяся девочка спешит к Отцу. И Он выходит навстречу, раскрывает объятия. Сквозь пропитанную никотиновым дымом кожу, к самым дверям сердца блудницы пробивается Тихий Приносящий Свет. Всё повторяется, как две тысячи лет назад, и те, кто надеется на милость, получают её. Христос, Который вчера и сегодня и во веки Тот же, — находит своих детей. И тогда стирается с губ помада, смывается с ресниц тушь, набрасывается капюшон...

Все, кто крещён, — одно Тело. Все мы — одной Крови. Вышли из одной Купели. И породнились. И та, что сейчас плачет, мне — сестра. Которая была мертва и ожила, пропадала и нашлась.

Старый фонарь

Перед тем как мне зайти к больной, родственница вынесла туалетное ведро.

— Подождите, я подготовлю бабушку, — виновато улыбнулась, прикрыла дверь.

В тёмном коридоре звучно тикали часы.

Комната напоминает вытянутый шкаф. Стул под грудой тряпья, тумбочка, заставленная склянками, кровать с железными набалдашниками — вот и всё. В изголовье окно с двойными рамами. Между стёкол сереют лохмотья ваты. За окном мокнет старый фонарь. Он точно заглядывает в комнату, пропитанную запахом чахлой плоти.

Я располагаюсь на подоконнике: икона, дароносица, плат. Прошу кипячёной воды. Открываю трепник.

За фонарём виднеются гаражи, высокий бетонный забор, железнодорожные пути. Тополя роняют первые листья.

Женщина сидит, низко опустив голову. Морщинистые ладони сложены в замок. Наспех завязанный платок сбился. Покрывало сползло с плеча и обнажило дряблую грудь. Спрашиваю имя, начинаю читать молитвы.

Она медленно качается в такт какого-то своего ритма. Где она сейчас? В нашем мире? В своём?

Осторожно начинаю исповедь.

— Каюсь, каюсь, — отвечает больная...

На клеёнку, словно горячий свечной воск, медленно падают капли.

— Всех прощаете?

— Прощаю, прощаю, — чуть слышится снизу.

Накрываю её голову епитрахилью. Потом складываю крестообразно руки для принятия Христовых Тайн. Теперь я вижу её лицо, глаза...

Фонарь, кажется, с интересом наблюдает за происходящим. Похоже, это её единственный собеседник. Когда закрывается на ночь дверь, он мирно светит в окно. Она же, слушая мерный ход поезда, погружается в прошлое. А эту комнату, старую кровать и даже ведро-стульчак несёт на пробитых гвоздями руках Тот, Кто только что вошёл в эту умирающую плоть, наполнил Светом, навеки приобщив к себе...

Но знает ли она? Всё откроется позже.

Я убираю Святые Дары, зову родственницу. Голое тело снова уложено, укрыто, платок снят. И мне думается, что с последним вздохом этой женщины погаснет и ржавый фонарь.

Инженер

Жил-был инженер. Он любил играть на баяне. Любил, но не умел. Терзал инструмент нещадно — немного по вечерам и много по выходным.

Этажом ниже жил поэт. Он умел слагать не слагаемое, строить конструкции и оттачивать детали. Но всякий раз, когда его слуха достигали звуки баяна, дактили слетали с педалей, выбивало ямбы, а дольки не хотели делиться.

Надоела эта музыка поэту. Поднялся он к соседу, позвонил раза два. Инженер открыл. На груди баян, лицо красное.

— Знаете что, — начал без предисловий поэт (он не любил предисловия), — вы своим, так сказать, музицированием мешаете творческому процессу. Собственно говоря, при исполнении, с вашего позволения, мелодий моя муза страшно пугается и оставляет лабораторию слова и звука. Все мои стихотворные построения рассыпаются, как карточный домик. О! Неожиданный образ! — воскликнул поэт.

Вынул из шёлкового японского халата записную книжку, ручку, размашисто набросал: «Стихи распались, как карточный домик», — сунул поэтические принадлежности обратно в карман и продолжил:

— Прошу вас, любезный, не занимайтесь тем, что вам не дано. Вы лишаете меня и мир свершений в области высокого искусства поэзии.

Инженер потоптался, как провинившийся школьник, вздохнул и ответил:

— Но я не могу не играть. Музыка — она как дыхание, как огонь в печи... Да, и насчёт музыки. Пойдёмте.

На кухне на обшарпанном табурете сидела юная особа. Кудри украшены венком живых цветов, лёгкая туника, в руках лира.

— Узнаёте?— спросил инженер.— Мы тут репетируем.

— Как?— воскликнул поэт.

— Сам не знаю,— ответил инженер.— Что-то мне подсказывало...

— Дорогая!— перебил поэт, трагично простирая руки. На пальце сверкнул перстень.— Как же так?! Как же я?

Повернулся к инженеру:

— Давно она у вас?

— Да почти сразу, как только его привёз из деревни,— он любовно погладил баян.— Стоит только начать играть...

Инженер загадочно улыбался. Улыбалась и юная особа. Не улыбался только поэт.

Этажом ниже качались строфы, скрипели рифмы, и вся конструкция ходила ходуном, готовая развалиться. Прямо как карточный домик.

Лётчик

Жил-был лётчик. С младых ногтей мечтал о самолётах. Даже на уроках парил в облаках. На чердаке у него была лётная кабина, собранная из ящиков, и приборная доска из старых лампочек. Над кроватью висел портрет Экзюпери, под подушкой лежала «Планета людей». Иногда лётчик брал книгу в рейс.

Первого дельфина он увидел, пролетая над Адриатикой, когда ещё был вторым пилотом. В чистой синеве плыли сказочные горы—плотные, высокие. Вдруг из ближайшей, из самой толщи, вынырнул огромный дельфин. Весело махнул хвостом и исчез. Лётчик протёр глаза. Померещилось? Глянул на командира, но тот был занят приборами. Пилот облегчённо выдохнул. И тут в иллюминатор заглянула весёлая морда. Какое-то время дельфин скользил рядом, а затем потерялся в белоснежной пене.

Лётчик чувствовал, как на лбу выступил пот. Поход к психиатру означал крах—работы, мечты, самой жизни. Он сжал губы и не проронил ни слова до конца полёта.

Вечером в кафе он всё-таки убедил себя, что нужно обратиться к доктору. Галлюцинации—это не шутки.

Убитый поднялся в кабину. Когда взлетели, командир положил руку на плечо и сказал:

— Это нормально.

— Что нормально?— пилот старался говорить спокойно.

— Видеть дельфинов.

— А вы что, тоже их?..

— Не всегда. Попривык. Мне они редко показываются.

— А стюардессы, пассажиры?

— Нет,— улыбнулся командир.— Только лётчики.

Потом сурово добавил:

— Но никому не говорят.

Вскоре он мог без труда различать дельфинов Адриатики и Средиземноморья. Про себя лётчик смеивался, видя удивлённые лица молодых пилотов. Некоторым дельфинам он подмигивал, те радостно махали хвостами, перед тем как нырнуть под крыло.

На земле лётчик скучал без своих весёлых друзей. Совсем немоготу стало, когда ушёл на пенсию. Потому он покупал билет непременно возле окна. Дельфины всякий раз узнавали его, кувыркались и даже старались потереться носами о иллюминатор. Однажды, когда пара молодых дельфинов выдвела разные акробатические штуки, лётчик заметил, что его сосед, не отрываясь, смотрит в окно. «Из наших, что ли?»— подумалось ему. Открыл было рот, но мужчина опередил:— Их видят не только авиаторы. Сочинители тоже. Они, знаете, такие...— пробормотал он и, улыбаясь, стал что-то набрасывать в исписанный блокнот.

Манекенщица

Жила-была манекенщица. Имела всё необходимое: грудь, талию, длинные ноги. Вышагивала по подиуму и не сходила с журналов. Жизнь крутилась словно калейдоскоп: гламур, бутики, фотосъёмки... Манекенщица пользовалась спросом. Студии, позы, чувственные взгляды—почти без выходных.

Иногда она терялась на глянцевых страницах и с трудом возвращалась в свою комнату, заваленную плюшевыми мишками. Со стен многозначительно улыбались киногерои. Но от их улыбок веселей не становилось.

Это ещё полбеды. Со временем манекенщица окончательно запуталась в бесконечных позах и уже не знала, как и какую принимать в обыденной жизни. С каким выражением лица открывать книгу? Ноутбук? Жест для вопроса? Ответа? Ответы могут быть разные. Катастрофа! Как держать кофе? Чай? Ужас!

Несколько раз она попадала в неловкие ситуации: улыбалась, когда нужно было грустить, выражала удивление при банальностях. Если бы она читала классику, сказала бы: «Всё смешалось в доме Облонских». Но манекенщица читала только статьи о диете.

Однако она не сдавалась. Теперь с ней был плотно набитый рюкзачок. Заказать американо с фисташковым макаруном? Пожалуйста! Открываем, листаем, находим: спина прямо, в левой—чашка, в правой—десерт, мизинчик чуть в сторону. Конечно, дело небыстрое, но она—клиент. Клиент для официантов—бог! Подождут.

Но выходить из положения становилось сложнее. Таскать журналы нелегко, Заучивать позы—немыслимо, их тьма-тьмушья. Дефиле по подиуму—это одно, а выгул чихуахуа на глазах у всего

дома — совершенно другое. Действительно, всё смешалось в голове манекенщицы. Было отчего прийти в отчаяние.

Однажды она обедала в ресторане под тоскливые взгляды персонала. Стопа журналов угрожающе росла. Манекенщица никак не могла найти, как правильно отменить заказ: ей принесли не то блюдо. Не выдержав, она сунула официанту деньги и выскочила, хлопнув дверью. Рюкзак остался возле столика.

Она летела по улицам, напрочь забыв, как нужно ставить ноги и куда устремлять взгляд. Прохожие расступались и удивлённо оглядывались. Вдруг манекенщица остановилась у витрины. Красивый, модно одетый манекен задумчиво смотрел вдаль. Не спешил, не суетился. Таинственный, неприступный, свободный...

Она вошла в магазин. Её узнали, стали предлагать новые поступления, но манекенщица уже поднялась к загадочному незнакомцу.

— Ну как? — спросила она, приняв соответствующую позу.

— Супер! — выдохнули продавцы.

Манекенщица улыбнулась, накинула палантин...

По ту сторону стекла шумели машины и торопились люди. Она чувствовала надёжное твёрдое плечо. Ей больше не нужны ни рюкзак, ни глянec, ни вспышки фотокамер... ни даже улыбки киногероев, от которых только тоскливей становится на душе.

Банкоматчица

Жила-была банкоматчица. Маленькая-премаленькая, под стать всем банкоматчицам.

Профессия, конечно, не из лёгких: сутки напролёт вещать в тесном ящике «выберите сумму» или «введите пин-код» и всё остальное, набившее оскомину. Но попробуй найди работу с такой комплекцией! Да и куда деваться, если это наследственное? Дедушка всю жизнь просидел в телевизоре, бабушка умудрялась помещаться в ламповый радиоприёмник, а папа бибикал в игральном автомате.

Дело, конечно, не только в росте, тут главное — характер и выдержка. Голос должен звучать всегда одинаково, не меняя тональности. Люди ведь приходят разные, последнее время — нервные. Некоторые так даже норовят садануть чем-нибудь по банкомату. А смысл? Он ведь железный. Да и деньжищ каждый день валит — с головой.

Клиентов банкоматчица не видела, только инкассаторов и техников. Зато слышала всё прекрасно. Особенно по ночам.

Однажды под утро она услышала плач. Сквозь громкие рыдания разобрала: «плевать на всё...», «теперь он узнает, гад», «маме оставлю под запиской».

Посетительница сняла деньги, и каблук застучали к выходу. И тут банкоматчица первый раз в жизни нарушила инструкцию. Не меняя тембра, она произнесла:

— Подумай о маме.

Девушка вскрикнула. После короткой паузы банкоматчица услышала испуганное:

— Кто здесь? — и еле слышно: — Наверное, я схожу с ума.

— Маме будет больно, — повторила банкоматчица всё тем же отработанным голосом.

— Пусть! — выкрикнула девушка. — Зато ему тоже будет больно!

— Не будет.

— Это почему?

— Он будет занят другой.

— Откуда вы знаете?

— Знаю, и всё. Иди к маме.

— Нет! Она не поймёт.

— Мама всегда поймёт.

— Я беременна.

— Мама всегда поймёт.

— Думаете?

— Не сомневайся.

— Можно ещё вопрос? — после короткого молчания спросила девушка

— Можно.

— Я ещё встречу... ну... настоящего?

— Не сомневайся.

— Спасибо!

— Заберите карту, — напомнила банкоматчица и чуть не рассмеялась от радости.

Библиотекарь

Жила-была библиотекарь. Разумеется, много читала. Книги с детства шли с ней по жизни. Вот только спутник жизни ей не встречался. Вначале это сильно печалило библиотекаря, а потом вроде как привыкла.

На работе её окружали стеллажи. А дома бесшумно слонялось одиночество. И только по вечерам оно пряталось в худощавой тени библиотекаря, когда та садилась у окна с бокалом вина и закуривала. Но только стоило лечь, как одиночество мостило в изголовье и начинало свою заунывную песнь.

Библиотекарь много чего знала — полезного и неполезного. Первое с трудом лезло в голову, второе — весьма проворно. Ещё у библиотекаря были привычки и заморочки. Так, например, она гадала в ночь перед Рождеством. Но делала это своеобразно: открывала наугад книгу, тыча пальцем в страницу. Строка, на которую указывал перст, должна была приоткрыть завесу будущего. Сапоги за порогом и зеркала в темноте не прельщали. Но суженый так и оставался за завесой, и последние годы библиотекарь гадала по накатанной — без трепета и ожидания.

В это Рождество она решила довериться папичнику. Может, Рудый Панько что-нибудь да прогоголит? Наскоро поужинав, библиотекарь извлекла из пакета книгу с оттиснутым профилем на обложке. Села за круглый столик, зажгла свечу...

«Не хорошо быть человеку одному», — прочитала она. Что-то здесь не так. Жаль, не заметила страницу. Выдохнула, зажмурилась... «И будут двое одна плоть». На этот раз библиотекарь запомнила место. Стала перечитывать. Никаких двоих, никакой плоти! Но ведь было! И вообще, откуда это? Она потянулась за сигаретой, но в руках снова оказалась книга. Тёмный профиль озорно улыбался. Очертя голову библиотекарь нырнула в диканьковский хутор. Палец скользил по знакомым строкам: «И мигом очутился Вакула около своей хаты. И в это время пропел петух, ибо крепка как смерть любовь». Стоп! Она узнала последние слова. Но как это возможно?

Библиотекарь уже не заглядывала в книгу.

Её не знобило, не тряслись члены, сердце стучало ровно. Она стояла у окна и слушала, как тикают настенные часы. Одиночество скукожилось и юркнуло в дальний угол. Вдруг библиотекарь прильнула к холодному стеклу. По заснеженному двору, оставляя следы, шёл человек: пальто странного покроя, цилиндр, из-под которого вились тёмные волосы, в руке трость. В свете фонарей отчётливо выделялись усики и прямой нос.

Библиотекарь опустила в кресло. Она глядела на пламя свечи. И улыбалась.

Человек в цилиндре свернул за угол. Там его ждала небольшая ладная бричка. Чему-то посмеиваясь, сел в коляску. Малороссийским говором крикнул низкорослому кучеру: «Трогай!» Мальёк дуже походил на человеческий нос. Он щёлкнул кнутом, и бричка покатила по асфальту. Рядом на козлах сидел господин — не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок. Он улыбался, оглядывая город.

Мелькали светофоры и витрины, вёрсты, колодцы, обозы, серые деревни... Спицы превращались в один гладкий круг. Ещё немного, и бричка оторвётся от земли и взмоет в звёздное небо. Какой же русский не любит быстрой езды?

Чиновник

Жил-был чиновник. Как у многих чиновников, у него имелось значительное лицо. Не старое, не молодое, не худое, не крупное, а самое обыкновенное — необходимое для работы. Дома и в отпуске он его не носил.

Чиновник надевал лицо в прихожей, почти на ходу, одним безошибочным движением, даже не глядя в зеркало. Портфель, строгий костюм, галстук, лакированные туфли — вся атрибутика значительного лица сияла как золотая печатка.

Он был чиновником средней руки. Над ним возвышались более значительные лица, даже сверхзначительные или высшей степени значимости, но чиновника устраивало положение вещей. Та ниша вертикали власти, в которой он обитал, была ему отрадой и утешением. На хлеб с маслом, икрой и остальными прелестями — хватало.

На службу он приезжал без опозданий. Когда входил в кабинет, лицо приобретало серьёзное выражение, а когда в кабинет входил проситель — очень серьёзное. Лицо всё делало само. Никаких усилий! Даже когда за очередной согбенной спиной закрывалась дверь, лицо не позволяло себе улыбнуться, хотя чиновник ликовал. На тот случай, если вдруг зашевелится совесть, у него имелись трафареты: «Бизнес — ничего личного», «Каждый выживает как может», «Я в команде» и т. п.

Бывало, он собирался с товарищами после работы. Лица оставались в кабинетах, а люди веселились. Но когда приходилось веселиться с персонами из высших эшелонов, лица брали с собой — для официальной части. Затем щёлкали застёжки портфелей, и люди в пиджаках или без них садились за столы.

Случилось так, что на одном из таких собраний чиновник оказался без портфеля. Заработался, оставил в кабинете. С кем не бывает? После торжественных речей он сунул лицо в карман пиджака. Но то ли был он с устатку, то ли слишком часто поднимались тосты — одним словом, чиновник перебрал.

На следующий день он проснулся в собственной постели, но как в неё попал — совершенно не помнил. Мягкий пиджак валялся на полу. Что-то нехорошее шевельнулось в груди. Он поднял пиджак, сунул руку в карман. Лица не было! Чиновник бросился на поиски. Одежда, квартира, подъезд. Ничего! Похмелье испарилось в одну секунду. Он обзвонил товарищей, но те только мычали в телефон. «Крах!» — вопил чиновник. «Катастрофа!» — вторила жена. Оба рыдали.

Он открыл бар.

Выходные ползли тяжёлой мрачной тучей, как мысли чиновника. Без лица он — никто, ничто, ноль без палочки. Он даже поглядывал на пояс халата...

Настал понедельник. На ватных ногах чиновник шёл к входной двери. В прихожей висело зеркало. Чиновник глянул и... обомлел. На него смотрело значительное лицо. Как?! Он принял его ощущивать. Оно! То же самое! Но он точно помнил, что клал его в карман.

Ах, к чему эти загадки? Не всё ли равно, как оно вернулось? А может, и не исчезало вовсе? Невозмутимое, должностное. Сама законность! О, теперь он будет внимательным. Очень внимательным! И будет трудиться результативнее, чем прежде. Ничего личного — просто бизнес.